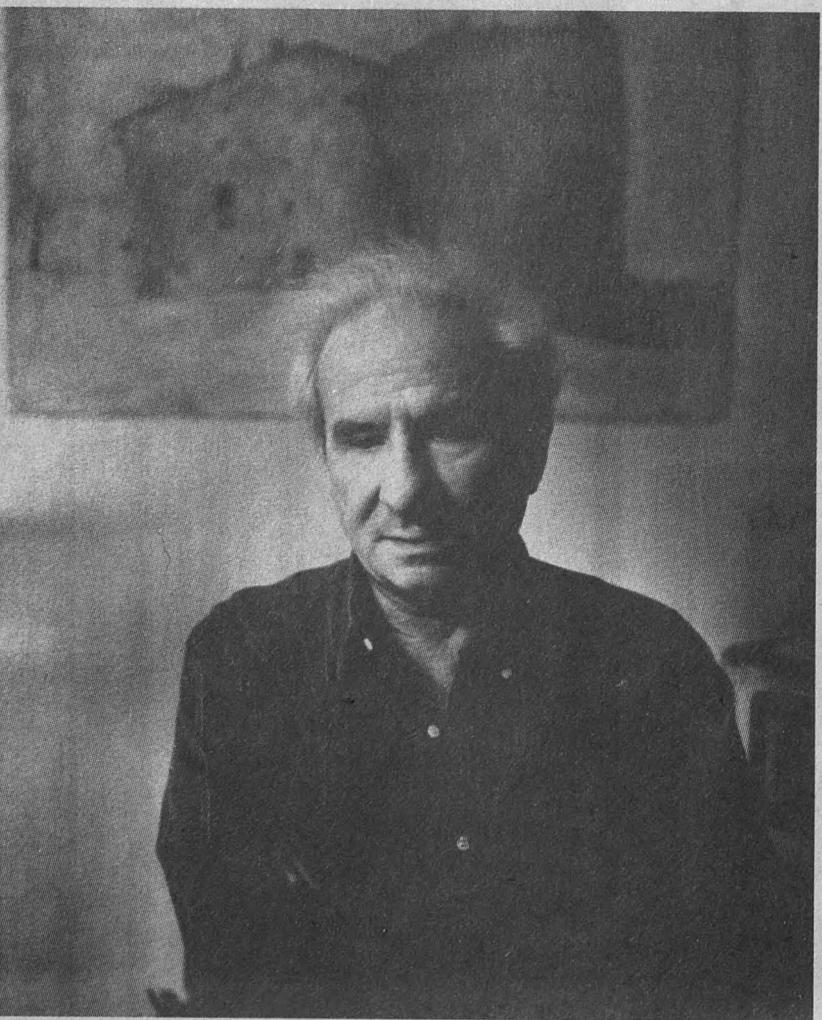
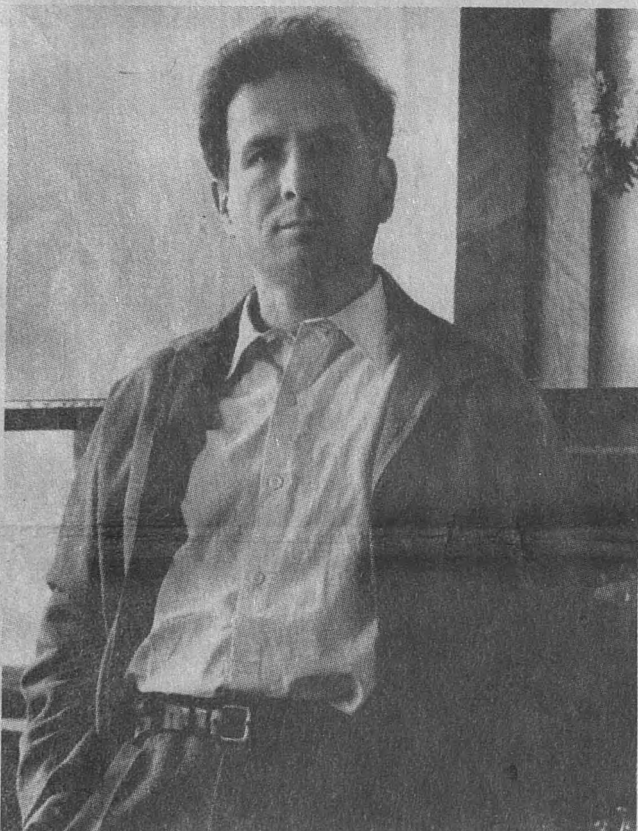
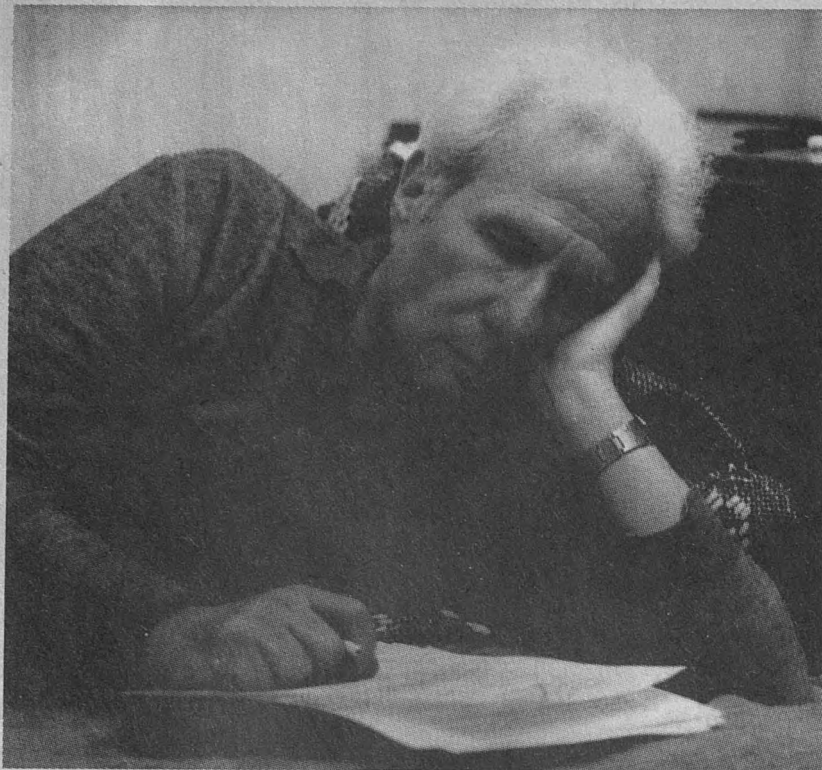




или душах близких людей! Пронзило — и прошло. Мгновенные счастья. А несчастье — оно длительное. Вот у меня были такие строчки: “Длинная, долгая смерть отнимает дни у маленькой щедрой жизни...” Во всем наступает разочарование. Разочарование, несчастье — это долгое, долгое, а счастье — это мгновение, которое пронзает и преодолевает все долгие разочарования: и неуверенность в себе, и все плохое в душе.

— Когда перечитываешь ваши книжки, кажется, что все равно эту жизнь сопровождала какая-то надежда. А сейчас в нашей жизни на что надеяться?

— Попросту есть надежда, что внуки или правнуки выберутся из нашей духовной и прочей нищеты.

— Это как при социализме? Перегретые временные трудности — и ваши дети будут жить в светлом будущем?

— Да, тогда так было. Удивляло только, что рабочий класс медлит с мировой революцией... А на твой вопрос я отвечу таким стихом:

“Неверие с надеждой так едины!

То трезвое неверье верх берет,

И блик надежды угасает, стынет,

Но так уже бывало. В прошлый год,

И в те года, века, тысячелетия

Надежды все обманывали нас,

И свет надежды все слабее светит,

Слабее светит. Как бы не погас...”

Вот такой стишок.

— Мы, женщины, пытаемся верить, что все спасает любовь.

— Мы тоже.

— В прошлом году у вас были темные периоды, а теперь все время куда-то бежите, встречаетесь. Как-то стало лучше.

— Да, стало, не знаю почему.

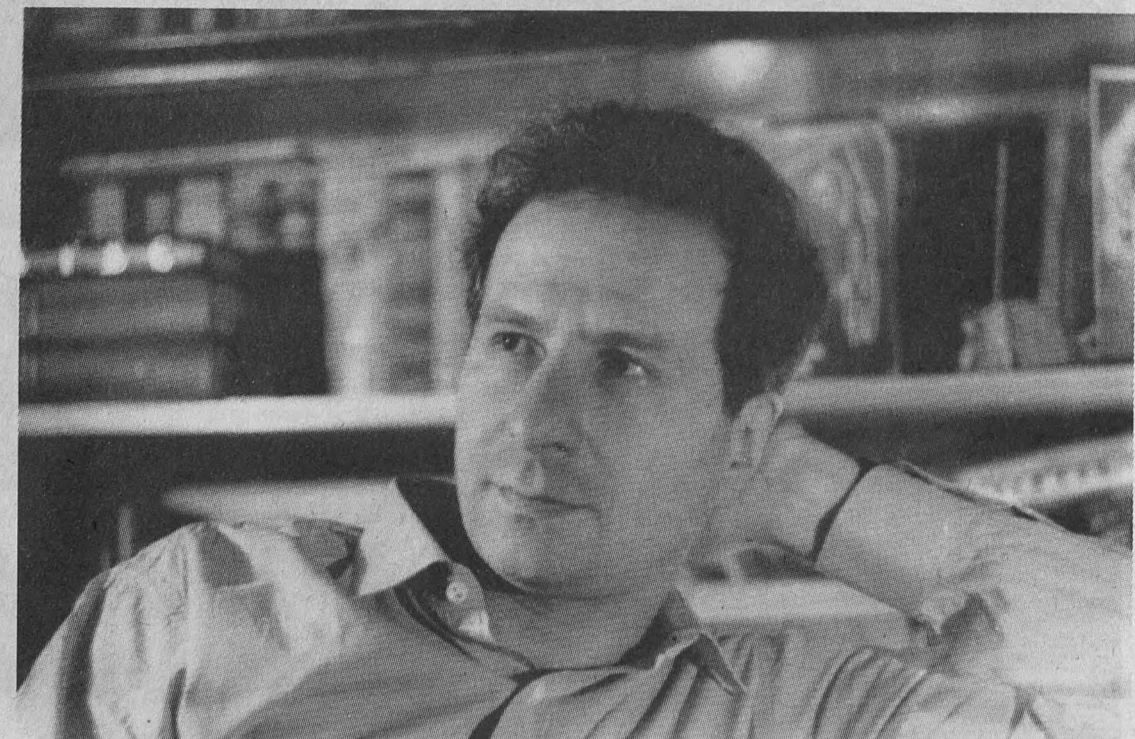
— Что такое хорошо?

— Хорошо — это когда вдруг влюбляешься в женщину. Со стороны даже. А она и не знает об этом. Второе “хорошо” — когда ты уверен, что у тебя работа не получилась, когда ты знаешь, что в ней и почему нехорошо, знаешь, что это твой стыд, никому не показываешь, — и вдруг это оказывается людям нужно. Так было с “Пятью вечерами”.

Перед премьерой завлит БДТ Дина Шварц дала мне билеты для знакомых. Я вышел на улицу, где стояла толпа (спектакль же Товстоногова!) и начал знакомых просить: “Не идите, это маленькая пьеска”, — как будто кто-то мог уйти со спектакля Товстоногова. То же самое было с просмотром “Осеннего марафона”. Начальство смотрело, а я думал: “Как длинно, как скучно...”

— а потом мне мужики звонят: “Что же ты сделал, ты же все наши секреты раскрыл!”

— Бузыкинство вообще-то пола не имеет, все мы отчасти Бузыкины... Я, например, часто себя им чувствую: не в смысле вранья, а — “Давай?” — “Давай” — “Побежали?” — “Побежали.” Один приходит — нужно одно, бежишь в эту сторону, другой — другое, тоже бежишь...



Точно! У меня даже есть подобие стишка:

“Бежать, бежать, от этих — к другим,

От близких, родных — к чужим, незнакомым, непонятым...” Вот такое ощущение.

— Спрятаться хочется?

— Да. Но когда долго прятаться — жизнь угасает.

— У вас так бывало — сплошное “я уединился, я замкнулся, ни с кем не общаюсь...”

— Бывало, еще как бывало! Особенно если вдруг приходит человек, который тебе неприятен, ты с ним выпиваешь...

— Но у вас есть строчки — “Не могу напиться с неприятными людьми”...

— Действительно — не могу. Они уже напились, а я — никак. И чем больше пью — тем противнее. Никогда не пейте с неприятными людьми. Я про себя тогда говорю такую фразу-заклинание: “Этот человек не увидит меня до конца своей жизни”... Но этот день такой человек у вас может отнять, потому что обычно это волевые люди, которые берут вас в свою власть.

— Получается заклинание?

— Получается, что ты!

— А с кем бывало напиваться лучше всего — из приятных?

— Ты знаешь, довольно много. С Ефремовым мне было легко, с “Современником”, с абсурдистом Олби. Они тогда приехали со Стейнбеком отбирать людей, которых можно пригласить в Америку (тогда никого не пускали, и нам с ними встречаться не велели). Они отобрали Аксенова, Вознесенского, Некрасова, Евтушенко и меня. И так хорошо было с Олби выпить! Когда я пошел к официантке за добавкой, наш переводчик побежал за мной: “Так и говорите с ними, так и говорите с ними! Они даже меня стали считать за человека!” Так что в разное время по-разному.

— А с кем бы хотелось напиться сейчас?

— Сейчас — с теми, с кем не пил ни разу. С Сашей Абдуловым. Я видел его в картине, где он играл киллера так, что я из всех героев больше всего полюбил киллера. Я так хотел, чтобы он спасся! Хотел бы с ним напиться, но пока не удается. Еще — с Янковским, Но это кумир всех времен и народов. Тоже не доводилось. Со мной здоровался за руку Караченцов. Вот с этими был...

— Чего вы больше всего не любите в людях?

— Самовлюбленности, высокомерия, самовольства, неоправданной уверенности в себе, не люблю людей, думающих, что они безупречны, волевых людей без совести и душевных мучений, которые готовы взять в свою власть другого человека.

— А какое чувство вы сам испытываете чаще всего?

— Вину и угрызения совести. Вот у меня есть такие строчки:

“Виновных я клеймил, ликуя.

Теперь другая полоса.

Себя виною, себя кляню я.

Одна вина сменить другую

Спешит, дав третьей полчасу”.

— Последнее время вы снова стали писать стихи.

— Полтора года назад, например, этого не было.

— Не было. Хотя иногда вдруг ... понемножку... чего-то захочется... Но это не мое дело. Здесь мне не трудно, а наоборот легко. Потому что тут я не отвечаю ни за что, я имею право плохо писать стихи. Как получается — так получается.

— Почитайте что-нибудь последнее.

— Но это уже совсем наше время, наше время... “Открыться жизни. Дверь души — наружу.

Как долго заперта была в глуши.

Я этот сон души своей нарушу.

Распахнута душа моя. Дыши!

Смотри во все глаза, что происходит.

В открытом мире появился СПИД.

Кто едет, кто дорогу переходит,

Кто в семь встает. А кто до часу спит.

Какие толпы населяют землю!

Какие дети на траве растут!

Каким теледебатам люди внемут!

Какие компюматы веют тут!

Какие перемены происходят!

То к лучшему, то к худшему они.

Какие громы в поднебесье бродят!

Проснулася ты, душа моя? Усни.”

— Когда-то вы написали: “Стыдно быть несчастным”. А что теперь — стыдно быть счастливым или стыдно быть несчастным?

— Ничего не стыдно. А тогда, знаешь, это было просто такое заклинание себе: “Если бы мне разрешили потом, потом, когда кончится война...просто увидеть, что будет ... Стыдно быть несчастным.” Это было оттого, что смерть вот-вот может сейчас... через неделю... Как же тут не быть счастливым? А вообще так-то — не стыдно быть счастливым. Это несчастным — горько, трудно.

— Из чего складываются повседневные радости?

— Из разного. Вот недавно иду по улице, вдруг какая-то женщина навстречу: «У вас пуговицы неправильно застегнуты.» — «Какие?» — «Да все», — и начинает мне их перестегивать снизу вверх. А потом доходит до последней, видит мое лицо и говорит: «Так вы — Володин?!» И прошло несколько дней — она мне позвонила: «Вы меня не помните? Я вам пуговицы застегивала». И у меня на полдня настроение наладилось. А может — от косячка...

— Отдельная тема — “володинские женщины”. В русской литературе есть “тургеневские женщины”, есть “чеховские” и есть ваши. А что самое лучшее в женщинах?

— Что меня волнует в любой женщине? То, что я могу преклоняться перед ней, перед чудом... “Ты появившись у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то прямых из тех материй, из которых хлопья шьют...” И — то, что я могу жалеть ее. Преклонение и жалость — вот это меня поражает в женщине мгновенно. А потом — еще многое... Знаешь, Волчек как-то сказала: “Володин любит официанток”. То есть, кто пониже. И это правда. Продавщиц, подававших... Вот вчера было торжество в Царском Селе, и все — и гости, и святой отец — говорили на банкете приветствия какому-то хорошему начальнику. А я сначала поднял тост за него, за отца, а потом поцеловал руку официантке. И было некоторое изумление: в этом дворцовом зале целовали руки только принцессам... Но все же все встали и спели за них, двух официанток, песнопение. Знаешь, когда я первый раз пришел в свою забегаловку, одна разливавшая меня спросила: “А закуска?” Я сказал: “Ваша улыбка”. И она мне улыбнулась. И теперь, когда она спрашивает: “Закуска?” — я ей говорю: “Та же”, — и тогда она дарит мне улыбку.

— Кого из ваших героев вы любите до сих пор?

— Мне трудно сказать. Ведь все они идут изнутри меня самого, а я себе не нравлюсь, всю жизнь с собою не в ладу. Потому я сочувствую своим героям, стыжусь за них и в то же время понимаю: ну, что же, значит так тебе суждено жить...

— А из женщин?

— А из женщин — всех!

— В кого из своих героинь вы бы теперь влюбились?

— В Ящерицу, по правде сказать. Вот к ней, к Ящерице, у меня есть преклонение и жалость. Но она первобытная, она в другом веке... А кроме Ящерицы я люблю телеведущую Светлану Сорокину. Я не знаком с ней, не встречался, не выпивал, но любить ее я все равно буду. Так что, из прошлого — Ящерица, а из настоящего и будущего — Светлана Сорокина.

— “С любимыми не расставайтесь!” — называлась ваша пьеса, в которой Лариса Малеванная так кричала: “Я скушаю по тебе!” — что одним этим криком вошла в историю театра...

— Мои дети в Америке помнят этот крик. Потом была картина с Абдуловым и Алферовой. И вот через двадцать лет решили продолжить и снять новый фильм, где тоже будут Сашенька Абдулов и Ирошка Алферова. И я попросил симпатичного мне издателя человека, Валущего, написать сценарий — вторую серию. Я его не читал, ничего не советовал — как он написал, так и написал. А режиссер-женщина мне говорит: «Вы сыграете автора прежнего фильма». — «Я?! Вот этот я?! Пусть сыграет Гафт! Он такой высокий, умный, он так пишет стихи!

Мне рассказывали, что когда он, как ему кажется, сыграл плохо, он также бьется головой об стенку, как я.

— У вас был такой стих: “Если бы мне разрешили!” А сейчас чего бы вы хотели, чтобы вам разрешили?

— Мне все разрешили, но я этим не воспользовался. Начались сложности, трудности, неверие в себя. А чтобы разрешили — и я стал стопроцентно и надолго счастлив — так не получилось.

— Александр Моисеевич, почему так трудно сказать “нет”, почему так трудно людям отказывать?

— Сказать “нет” безумно трудно. И я делаю дикие поступки, не умея отказать. Не хочется, а уже сказал “да”...

— Что было трудно раньше и что трудно сейчас?

— Раньше не было внутренней духовной свободы и выражения этой внутренней свободе. Страх всеобщий. А сейчас свобода есть, но свобода говорить о том, что плохо и о том, что будет еще хуже. Это радости не приносит. Это простой вопрос и простой ответ...

— Сейчас кажется, что в 60-е годы было ощущение радости. Забываешь и про стукачей, и про цензуру...

— Было. Но быстро утало. А со стукачами, кстати, случались забавные истории. Как-то я был в гостях у Толи Юфита и увидел такую худенькую женщину, которая, как мне показалось, руководила ленинградской культурой. Я шепчу: “Не надо при ней говорить...” А мне говорят: “Ты что, это же Алла Осипенко”. А однажды напился в ресторане в 1968 году и кричал: “Стукачи, выньте карандаши и блокноты! Я за свободу, демократию и Чехословакию!” — а оказалось — за столом были одни стукачи... А про 60-е годы вспомнил один случай. Фурцева пригласила несколько драматургов: Штейна, Розова, Салынского, меня, чтобы выслушать, что мы просим. Все было мирно, а когда дали говорить мне, я начал — как все это уродливо, как давится искусство, как сворачивают головы тем, кто делает что-то искренне... И вижу — у Фурцевой и министра Исаева неслышащие глаза. Неслышащие глаза — это очень заметно. Я замолкаю. Тогда она спрашивает: “Александр Моисеевич, у вас деньги есть, чтобы работать?” — “Деньги сейчас есть, но я не об этом...” — и опять долго леплю, леплю... Она опять: “Александр Моисеевич, вы хотите в бассейн?” — “Нет”, — я совершенно оторопел, потому что очень люблю плавать, а куда в бассейн зимой? Она говорит: “Вот видите, вы не ходите в бассейн, не следите за своим здоровьем, разве можно так?” То есть, я успел все высказать, а потом стал ходить в бассейн... А что еще сейчас трудно — я тебе скажу. Трудно говорить и выступать по телевидению. Я то свищу, то шепелявлю.

— А чего бы вы пожелали в свой день рождения своим детям?

— Честно говоря, я пожелал бы им жить так, как они сейчас живут. Они правда счастливы, и когда они звонят, я это чувствую. Мое главное счастье в том, что я чувствую, что они счастливы. Что они преуспели в своей математической работе, что они любят друг друга, что младший сейчас женится на хоккеистке. Он — в меня, он унаследовал мою неуверенность, сомнения. Когда он написал свой реферат в разные университеты, он звонил: “Папа, я все плохо написал”, — а его пригласили сразу во все. Сейчас ему 24 года, но с девочками как-то у него тоже не ладилось, он все говорил: “Мне американки не нравятся, я им тоже”. И вдруг звонит: “Папа, у меня появилась девочка!” — “А кто она?” — “Хоккеистка. Нет, она еще работает, она очень умная, она красивая. Мы играем командами в хоккей, но мы девочек не бьем, не притискиваем к стенкам...” Хоккеистка — видимо, неслучайно. Когда Алешина мама умерла и он поселился у меня, ему жилось грустно — и я водил его на хоккейную площадку, чтобы он как-то поверил в себя. Тут, напротив. И он прихотил и рассказывал: “Папа, я забил одну шайбу и две — с моей подачи!” — “Вы выиграли?” — “Нет, проиграли”.

— Теперь важно, чтобы они приехали именно зимой и им было где кататься.

— Я обязательно поведу их туда.

— Александр Моисеевич, а что все-таки важнее — театр или жизнь?

— Тогда, в молодости, для меня были все — театр и Пастернак. Я видел Качалова, театр Вахтангова, Дикого. И рядом с ними оказался Пастернак. Мне казалось, что он должен жить на Гоголевском бульваре, ему бы это шло. И я считал, что Пастернака знаем только мы с моим старшим братом. И вдруг — “День второй” Эрэнбурга, и там какой-то Володя, который любит математику и Пастернака. Значит, нас трое уже знают о нем? Второе его любим? Хотя если Эрэнбург написал о нем — значит он тоже знает Пастернака и нас уже четверо! Поэзия и театр. А теперь я думаю, что важнее жизнь, если в ней есть место поэзии и театру.

